

«Он дал нам свой адрес на прощанье — написал его на бирке от багажа»

Бродский любил бывать в Стокгольме. Не только потому, что здесь ему вручали Нобелевскую премию: поэт нашел в Стокгольме родственную ему городскую среду, чем-то похожую на петербургскую, нашел друзей. С одним из них, известным филологом-славистом, переводчиком Бродского, Бенгдтом Янгфельдтом встретила в Стокгольме Гюляра Садах-заде.

— Ваше первое знакомство с Бродским было заочным, или вы познакомились лично, а потом началось деловое сотрудничество?

— Сначала это было просто знакомое имя. Будучи приглашенным редактором одного поэтического журнала, я опубликовал перевод его «Большой элегии Джону Донну». Было это в 1972 году. А в 1978-м Бродский приехал в Швецию читать стихи. Переводов было очень мало. И тогда он попросил нескольких славистов, в том числе и меня, перевести его стихи на шведский, для выступления. Он не любил читать старые стихи, предпочитал читать свежие вещи. Я перевел ему тогда «Одиссей Телемаку». И мы выступили вместе: сначала я читал его стихи по-шведски, потом он сам — по-русски.

Бродский был очень доволен моим переводом, потому что я сохранил структуру и ритм стиха, а это было для него очень важно. Чуть позже он выступил с моей женой, Еленой. Елена — певица, довольно известная, и она пела романсы на его стихи. Но это — отдельная история. Бродский дал ей стихотворение, чтобы она сочинила на него музыку. Моя жена немного сочиняет. Со своими романсами она даже выступала на канале «Культура», Шведкой ее представлял... Так вот, Бродский выдал ей стихотворение, совершенно неизвестное, написанное им в 1965 году, и попросил сочинить к нему музыку. Стихотворение называлось «Песенка о свободе», было посвящено Окуджаве и никогда до того не публиковалось. Он сказал Елене: «Сочините на него музыку» — редкий случай, ведь он не любил, когда пели его стихи, считал, что это затемняет их смысл и текст с трудом доходит до слушателя.

— Я слышала о том, что Бродский не очень любил, когда стихи его перекладывались на музыку...

— Не то чтобы не любил — ненавидел просто! Но тут он сам попросил мою жену, так как знал ее романсы на стихи Мандельштама и Цветаевой. Елена специально поехала в Москву и выступила с этой песней. После этого наши отношения потеплели. Помню, он дал нам свой адрес на прощанье — написал его на бирке от багажа. И когда я был в Нью-Йорке, я ему позвонил. Он тотчас вспомнил меня, хотя прошло много лет. Это было потрясюще; ведь голова его в то время была занята другим, ему только что сделали первую серьезную операцию на сердце.

Я нашел его совершенно изменившимся; со времени нашей последней встречи прошло восемь лет. Он был совсем другой: совсем седой, с поредевшими волосами.

И мы сразу стали как-то очень сильно дружить. Напоследок он попросил перевести его сборник эссе. Сборник этот только что вышел в Америке; вернее, даже еще не вышел, Бродский показал мне корректуру. Я перевел сборник; книга вышла в Стокгольме ровно в тот же день, когда ему вручали Нобелевскую премию.

— Не ваши ли шведские переводы его стихов способствовали тому, что на него обратил внимание Нобелевский комитет?

— Нет, что вы! Его довольно много здесь читали по-английски. Тут нет прямой зависимости; просто все понимали, что Бродский — крупный поэт. Перед церемонией я поехал в Штаты, чтобы взять у него интервью для одной стокгольмской газеты. Я состоял с ним в переписке и звонил ему довольно часто, чтобы выяснить всякие нюансы перевода. Эссе были написаны по-английски; по-русски у меня проблем с переводом его стихов не возникало. А по-английски иногда даже по тексту было видно, что тут вмешался редактор.

— Так вы считаете, что английским он все-таки не овладел в совершенстве?

— Ну конечно нет. Английский он выучил довольно поздно. Проза по-английски у него получалась довольно прилично; но его английские стихи мне совершенно не по душе. Сейчас довольно открыто говорят, что это — не настоящая поэзия. Так считают многие мои американские и английские коллеги. Конечно, его русские стихи очень хороши, потому что русский — его родной язык. А с его английским было довольно много мелких проблем. Временами было непонятно, к чему он это слово отсылает, иногда в английских стихах терялась связь слов. В русском языке таких проблем нет, потому что все склоняется.

Но еще до Нобелевской премии Бродский как-то согласился приехать на книжную ярмарку в Гетеборг. Мы выступали с ним вместе с двумя замечательными шведскими поэтами: Томасом Транстреммерсом и моим близким другом, есть такой потрясающий поэт — Еран Горан Сонави.

Мы читали стихи почти четыре часа, в зале набралось аудитории под тысячу человек. Это был потрясающий, совершенно магический вечер. Бродский читал по-русски, я предварял его чтением тех же стихов, но по-шведски. Потом была дискуссия.

Через какое-то время он вдруг понял... Он ведь бывал в Швеции раньше, бывал здесь в 1970-е годы несколько раз, но вдруг он понял, что здесь — его экология. И дело тут было не в Нобелевской премии. Как он говорил: «Те же облака, тот же мох». Однажды, вспомнив об известном ленинском изречении, я пошутил: «Швеция — это электрификация всей страны минус советская власть». И он с 1988 по 1994 год стал бывать здесь каждое лето. Я снимал ему дачу под Стокгольмом или квартиру в городе.

— По общепринятому убеждению, больше всего он любил Венецию — она напоминала ему Петербург.

— В Венеции он бывал каждый январь. Но, думаю, я и моя жена видели его больше других в эти годы. Он бывал в Стокгольме инкогнито: никто не знал о его приезде. У него относительно мало друзей в Швеции, в отличие от Венеции или Лондона. И я держал людей в стороне от него; он не хотел, чтоб о его приезде прознали журналисты.

— Вы снимали ему одну и ту же дачу?

— Нет, разные. Из тех, что были в наличии и ему подходили. В эти лета мы работали с ним вместе довольно интенсивно. Уезжая, он оставлял мне кучу новых стихов, и я начинал работать с ними. Конечно, я переводил не всё; он и сам далеко не всё переводил, потому что некоторые стихи принципиально непереводимы. Он, как и я, выбирал то, что переводимо; сам выбор был довольно интересным процессом. Когда Бродский готовил свою последнюю книжку стихов (она вышла уже после его смерти) — я знал ее содержание еще до опубликования. Он дал мне список стихов, вошедших в сборник. Так вот, на восемьдесят процентов наш выбор стихов для перевода совпал. Иногда он привозил довольно трудные вещи; но тогда он позволял себе полностью переписывать стих, готовя к переводу. Он мог позволить себе это как автор.

Мы обсуждали возникающие с переводом проблемы довольно часто. Помню, звоню ему как-то — он тогда сидел в Массачусетсе — и спрашиваю его, чем он занят. «Да вот, перево-

жу свои же стихи», — говорит. «Что именно?» — «Мне нужно найти английский эквивалент русскому «ни пуха ни пера». И я ему говорю: «Поздравляю, это именно то, чем я занимаюсь в данный момент». С ним бывало смешно, и довольно интересно было переводить. Потому что я переводил его рифмованно. И он это очень ценил. Все вокруг говорили: «Это так сложно, так сложно!» Конечно, сложно; но для меня это было, как бы это сказать, делом любви. Американцы мне говорили, что у них, на Западе, не рифмуют, что это излишняя работа. Понятно, что не рифмуют. Полвека уже. Или семьдесят лет. Но именно из-за этого высвободилась масса неизношенных слов. Весь этот современный словарь, который Бродский обожал рифмовать, и весь словарь восемнадцатого века — все это доступно теперь. Я помню, что очень мучился. В стихотворении было слово «измена» (или, может быть, «предательство», не помню точно), и я не мог его срифмовать. Тогда я чуточку изменил значение слова. «Ах, здорово! — говорит он. — А я не мог из-за рифмы, по-русски. Но это именно то значение, которое я имел в виду». Он тоже находился в путях рифм.

— Вы сказали, что для вас это было делом любви.

— Конечно, я обожал его поэзию.

— Но можно ли сказать, что вы были друзьями?

— Я думаю, да. У Бродского был свой круг друзей, и эти дружеские связи были очень крепки. Остальной мир людей для него просто не существовал, такой он был человек. Он держал дистанцию с остальными. И очень легко было попасть не в ту категорию. Со мной это случилось, когда мы впервые встретились. Мы стояли кружком в Упсальском университете в 1978 году, просто стояли, разговаривали, и я что-то такое «умненькое» сказал про Цветаеву и восемнадцатый век. Он обернулся, посмотрел: «А, еще один умный славист!» Но когда он услышал, как я читал по-шведски его «Одиссей Телемаку», он показал мне вот так (показывает большой палец вверх). И все стало на свои места. Это было для него характерно: он ценил всякие проявления таланта. Был человек, который на него стучал в России; но Бродский не мог на него злиться, потому что тот хорошо играл на гитаре, понимаете? В нем жило чувство качества. Он мог сказать: «Это подонок, но замечательный поэт».

У нас были очень интимные разговоры. Я никогда не смогу о них рассказать. Потом, мы очень много времени проводили вместе. Путешествовали, были в Финляндии, на какие-то конференции ездили. Я ходил с ним к врачу-кардиологу, он почему-то не хотел идти к нему один. И я был с ним, пока производились исследования, брались анализы... За три года я узнал его очень близко. Мы ведь с женой его женили, здесь, в Стокгольме. Мы устраивали все бу-мажные дела и церемонию — всё буквально. Свадьба прошла в Стокгольмской ратуше.

— В Петербурге только что вышла книга Елены Петрушанской «Музыкальный мир Бродского»: на ваш взгляд, правомерен ли такой поворот темы в изучении наследия Бродского?

— Я знаю, какую музыку он любил, а какую — нет. Он любил Баха, ненавидел Чайковского, Брамса не любил. Гайдна ставил выше всех. Любил джаз. Но, видите ли, он был такой человек, что мог отшить Брамса по каким-то совершенно внемузыкальным причинам. Иногда это создавало ситуации, при которых Бродский плохо относился к человеку, этого вовсе не заслужившему; просто потому, что что-то не совпадало. Об этом известно, об этом пишут многие мемуаристы. Но такое часто встречается у нервных, творческих людей. У меня сохранились довольно интересные записи наших бесед; в них воспоминания запечатлены живее, ярче, обширней. Часто я записывал наши разговоры, по самым разным поводам. Мы много говорили о поэзии; о том, как писать стихи. Мы затрагивали такие сферы, которые характеризуют его как человека.

— Многие писали о том, что он так и не приехал в Петербург, — не хотел, отказывался наотрез. Вы как человек, близко знавший Бродского, как считаете, почему?

— Понятно, почему. Он действительно боялся за свое сердце. Боялся увидеть друзей, боялся не выдержать встречи с ними. Он же был очень плох; я с ним ходил по врачам и знаю это лучше многих. А в Петербурге его ждали переживания — как негативные, так и позитивные. Кроме того, он вообще не хотел общаться с какими бы то ни было официальными лицами. А этого было бы не избежать. Его и так заочно сделали почетным гражданином Петербурга.

Это одна причина. А другая — скорее теоретическая. У него было глубокое убеждение, что нельзя возвращаться назад. Что это невозможно. Такая вот была у него вергилиевская идея, и он об этом пишет в эссе о Стамбуле — что человек никогда не должен возвращаться назад. Я узнавал, как ему можно приехать в Петербург инкогнито, даже начинал устраивать поездку. За несколько лет до смерти он уже совсем было собрался поехать, вместе с Барышниковым — тогда можно было совершить однодневный бросок в Петербург без визы. Но ничего из этого не вышло. Я потом понял, что у него все заканчивалось на стадии разговоров. Другие люди занимались его приездом, но у них заведомо ничего не получилось бы. В нем еще жило чувство жуткой обиды, это понятно, конечно. В общем, это довольно грустная история.

— Почему все-таки вы решили переводить Бродского?

— Со мной было очень просто: когда я впервые прочел его стихи, я понял, что существует поэт, рожденный после революции. Который вырос в другой педагогической системе — не такой, в которой росли Ахматова, Пастернак и Мандельштам: они-то ходили в замечательные школы. А Бродский воспитывался на марксизме, и ему прививали эту дурацкую идеологию. Несмотря на это, он пишет на уровне Ахматовой и Мандельштама. И это было для меня потрясением. Я помню, как звучали его стихотворения для меня в начале 1980-х годов, и я сразу понял, что это — поэт и что я могу его переводить. Здесь речь идет не о знании языка; речь об идентификации. Строй его стихов был мне близок. Я ему как-то сказал: «Я знаю, если б вы писали по-шведски, вы бы звучали, как я» — вот так нагло ему и заявил. Есенина, например, я совершенно не могу переводить, хотя иногда и приходилось. А есть поэты, которые прямо ложатся на язык — таков Бродский. Его философия, его меланхоличность мне очень по душе. Его... чувство обреченности.

Так что мы резонировали в чем угодно — например в еде. Он любил поесть. Однажды кто-то в Лондоне задал ему вопрос: «Почему вы так часто ездите в Швецию?» Он ответил: «Там есть женщина, которая замечательно готовит чрезвычайно вкусного лосося» — он имел в виду мою жену. Потом нам звонили из Лондона: «Не ты ли это, Ляля?» — «Конечно я». Он обожал вкусно поесть. Обожал котлетки, ел их руками. Мы готовили ему еду и отвозили на дачу.